

О ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ И ВОИНСТВЕННОЙ РЕЧИ (шесть примечаний)

Николай Семенов¹

Abstract

The paper examines the interconnection of such notions as 'real politics' and 'the political', 'friend' and 'enemy'. In order to clarify the meaning of 'the political', the author turns to the modern theories of the legitimacy of political power.

The author analyzes the notion of 'political struggle' in the context of the general idea of struggle. The problem of political consent is considered as opposed to the political struggle. Addressing the phenomenon of speech the author analyzes both the key features and contradictions of 'militant speeches'. Analyzing the crisis of the Kantian ideal of "Perpetual peace", the author discusses the most important aspects of modern wars: the merging of the war with terror, state terrorism, cyberwarfare.

Keywords: politics, the political, legislation, law, legitimacy, speech, war.

Эссеистическая форма данных рассуждений выбрана автором не случайно. Эти небольшие примечания представляют собой своего рода «заметки на полях» (ad marginem) по поводу «громких» явлений: политики, борьбы, войны и речи. Фрагментарность и разрывы текста суть необходимые составляющие своеобразной феноменологии, лежащей в основе одновременно и обыденного (на грани «банального»), и художественного (политическое, именно как политическое, сквозь призму эстетического восприятия) видения рассматриваемых вопросов.

О политическом. У Тирсо де Молина (Константин Бальмонт приводит данное высказывание в качестве эпитафии в сборнике «Возле дыма и огня»): «Кто ты, чтоб так говорить? – Сложность противоречий»². Что ж, и политик вполне может сослаться на это, не только поэт помянуть. Общее место – «мы живем в сложном и противоречивом (если не сказать – катастрофическом) мире». Но потому-то «я – Политик – и нужен вам; мое – политическое – искусство. Ибо политика и есть умение вести за собой, направлять в борьбе, но и разрешать, выстраивая компромиссы». Однако тут и на-

¹ Николай Семенов – кандидат философских наук, доцент.

² К. Бальмонт: *Собрание сочинений: В 7 т.*, Т. 1: Полное собрание стихов 1909–1914, Москва: Книжный Клуб Книговек 2010, 255.

чинаются проблемы: с самой политикой, с самим политическим. Что такое «политическое»? Все, что имеет отношение к власти – и как к реальности, и как к проблеме, и как к цели (борьба за власть)? В книге «Апология политического» В. Подорога (не он один и не он первый), опираясь на свой метод «аналитической антропологии», решительно противопоставляет «политическое» и «реальную политику». Первое не имеет никакого отношения ко второму; «политическое» рассматривается как принадлежащее стратегиям знания, которые существуют в горизонте личной свободы³. Здесь, однако, все проблематично: «стратегии знания», «принадлежность», «личная свобода» и ее «горизонт»; то есть мы не получим какого-либо прагматически внятного определения «политического»⁴. Меня же интересует как раз эта обруганная «реальная политика», ибо при всей своей презренности она затрагивает мою жизнь даже самой своей ничтожностью (ею, быть может, еще сильнее). Да и вопросы, которые сразу же возникают: разве знание не относится к власти? и разве личная свобода сегодня – не одно из самых проблематичных понятий? Мы, конечно, уже не можем следовать классическому (допустим, аристотелевскому) ее пониманию; мы не в греческом полисе живем. Если вспомнить здесь Карла Шмитта, то, согласно ему, всякое политическое мышление начинается с деления на партии, а критерием политического считается различие друга и врага, своего и (враждебного) чужого. В этом критерии политического (через различие и противопоставление «своего» и «чужого») граница между тем и другим может считаться своего рода «политическим априори». Ведь она дана как бы непосредственно, она, так сказать, «самоочевидна». Подвергать ее критической рефлексии, сомнению недопустимо, это разрушительно в отношении самого «политического». Между тем, то, что вчера несомненно было «своим», и тот, кто вчера еще считался «другом», сегодня неожиданно может сдвинуться в сторону «чужого», обернуться почти «врагом». Это «свое» уже не совсем «свое», а «чужое» – не совсем «чужое»; а то и вовсе это «свое» может стать «чужим», и наоборот. Сие являет себя вполне эмпирически и банально. Так, вчера Турция была смертельным врагом России и против нее были введены соответствующие санкции, а сегодня она снова ее партнер и санкции начинают отменяться. Такая, в общем-то, циничная практика вполне обычна, вовсе не экстраординарна. Тем не менее само различие «своего–чужого», конечно, сохраняется, являясь (опять же, следуя Шмитту) конститутивным для политического. Вообще-то, у политического есть своя «антиномия». Тезис: у политического есть специфический признак, и если он отсутствует в данном событии, явлении, действии, речи, то они и не являются политическими.

³ В. Подорога: *Апология политического*, М.: Изд. дом гос. ун-та – Высшей школы экономики 2010, 7–10.

⁴ Быть может, стоит – в отдаленной связи с этим – просмотреть книгу, например: Ж. Баландь: *Политическая антропология*, М.: Научный мир 2001.

Антитезис: политическим сегодня является все, ибо все находится в поле политики и может быть (явно или неявно) политически использовано и обыграно. Правда, порой кажется, что и политика у нас стала китчем; а китч, следуя Станиславу Лему, «является тем, что некогда было свято и/или желанно, что лишало уверенности в себе и/или будило страх, а теперь является заготовкой, сборным элементом для мгновенного использования»⁵. А учитывает ли политик, озабоченный прежде всего эффективностью своих речей и действий, их воздействием на его электорат, человеческое достоинство, как свое собственное, так и граждан, к которым он апеллирует, не брезгуя подчас любыми средствами? Если учитывает, то как и в какой степени? Зависит ли последнее от контекста и обстоятельств или является чем-то принципиальным в его политике как ставящей достоинство человека в один из своих важнейших фокусов? Пожалуй, наивные вопросы, и все же. Иногда ведь за наивностью может скрываться и нечто принципиальное. И в силу этого тоже могут говорить о потребности в «иной, новой политике» и самого ее нового понимания. Но не только вопрос о том, как говорить, но и как писать о политике. Здесь появляется тема писательства и политики, о которой хорошо сказал Клаус Манн: «Писатель, желающий ввести в свое художественное творчество политические проблемы, должен перестрадать политикой так же глубоко и горько, как должен перестрадать любовью, чтобы о ней писать. Он должен пережить ужасные страдания – это и есть цена, дешевле он не отделается»⁶. И, кстати, я не знаю «человека как такового». Не случайно нет такого определения «человек», с которым согласились бы все. «Человек разумный»? Но почему тогда такая наблюдаемая абсурдность поступков (многих), иррациональность чувств (многих), безумные мысли (многих)? Зато я знаю человека, носящего конкретное имя, знаю его как такового, в каких бы поступках, речах и мыслях он себя ни явил; относительно знаю. (Заметим, что человека имярека, во плоти, нельзя «сконструировать», по крайней мере целиком и полностью, а «человека вообще» только так и можно.) Так же и с политикой. Когда говорят, допустим, о «конце политики как таковой», то притязают на знание «самого ее существа», на знание «всякой политики». Но это лишь уверения и самомнение. «Конец политики» – это значит, что все смыслы (именно политические) теперь либо лживы, либо вообще бессмысленны. В чем же тогда продолжают уверять нас все эти политики, неизменные обитатели не всего лишь трибун, но и телеэкранов, газетных полос, страниц журналов, интернетовских сайтов и прочего? Политика для меня – игра политик, чреватая столкновениями и эксцессами; и с этой точки зрения конец одной политики есть начало другой. Тогда имеют смысл вопросы и требования: какова их политика (вчера/сегодня)? какова наша политика? следует ли нам (сейчас, в данных обстоятельствах) изменить ее? Или: подобная по-

⁵ С. Лем: *Мой взгляд на литературу*, Москва: АСТ 2009, 166.

⁶ К. Манн: *На повороте*, Москва: Радуга 1990, 214–215.

литика более недопустима/невозможна; нам надо срочно изменить нашу политику; вы должны изменить вашу политику; и так далее. Не всякая политика непременно и в первую очередь есть «борьба за власть». Слишком прямолинейно, однозначно, грубо. А если власть рассредоточена? Не один, а разные центры власти? Если она «рассеяна» (известная «микрофизика власти»)? Экс-центрична? Поэтому – о какой политике вы говорите? Какую хороните? Какой требуете?

Давайте сузим проблематику. И если невозможно добиться однозначного понимания и «политического», и даже «реальной политики», обратимся к тому, опять же, политическому духу, который пронизывает всякую борьбу, и тем более политическую.

О политической борьбе и борьбе вообще. Что такое политик (который и человек ведь) без «политического духа», уже как бы и «сверхчеловеческого» (вспомним о мечтаниях «большой политики» у Ницше)? А «политический дух» воинственен; он всегда должен быть готов к двум вещам: к борьбе и к лавированию. Его упорство (а точнее сказать, упрямство) двусмысленно: даже вынужденно изменяя свою точку зрения, он будет настаивать на «своем» и своей правоте. «Я не прав» – это не из лексикона политического языка. А если «мы правы», то, конечно, – борьба с окружающим нас «миром неправоты». Борьба не есть творчество; их отождествление было бы ошибкой. Об этом неплохо сказано у Георгия Федотова. Счастье и муки творчества – и пафос борьбы; пусть и несколько утрируя, Федотов писал: «Борьба не создает ценностей, но разрушает: убивает живую силу врага и его – пусть ложные – ценности»⁷. Враг, противник, оппонент – и тогда борьба, ее возможность и необходимость. Творчество – «приращение» мира, борьба – «ограничение» мира, даже при его «охранении», «защите» (ограничение «нашим, своим», которому побежденные должны подчиниться; мир победителей, смиренность побежденных). Далее Федотов пишет: «Творчество немислимо без любовного созерцания идеи-цели, без момента внутренней тишины и радости, хотя бы рождающей самые бурные внешние проявления»⁸. Он же отмечает по крайней мере возможность опошления «самым фактом победы. Победа, как известно, – самое трудное испытание для идеи»⁹. Но для этого поборника «христианского социализма», противоречиво соединяющего его с «религией духовной аристократии», сфера политики и политической свободы – всего лишь сфера промежуточная между мирами культуры, с одной стороны, и хозяйства и техники – с другой. И потому для него «политическая свобода не имеет той же непосредственной ценности, как свобода

⁷ Г. Федотов: *Судьба и грехи России (избранные статьи по философии русской истории и культуры)*, В 2-х тт., С.-Петербург: София 1991, Т. 2, 38.

⁸ Там же.

⁹ Федотов, указ. соч., Т. 1, 265.

культурная»¹⁰. Вернемся, однако, к феномену политической борьбы. Политическая борьба – как борьба политиков (политических лидеров, функционеров), политических партий и группировок, политических организаций, политических идей, программ и лозунгов. Если идей, то (как о том пишет Г. Федотов в статье «Революция идет») «есть два рода политически активных идей. Одни коренятся в глубине народного самосознания, оформляют могучие инстинкты, дремлющие в массах»¹¹. Все это, по-моему, если не мифы, то идеологемы: «народное (само)сознание», его «глубины», «могучие инстинкты, дремлющие в массах»... Но читаем дальше: «Другие приходят с книгой, как готовый товар “made in Germany”. Почвенное в ином месте и в иное время, они ведут автономное, кочующее бытие, проявляют нередко огромную, чаще всего разрушительную энергию, но лишены творческой, органической силы роста, цветения и плода»¹². Странное дело, огромная энергия – и отсутствие творческой силы. Однако само это подразделение на идеи «почвенные, органические и творческие» и «кочевые, книжные» тоже суть лишь «мифологема». Но он также писал о том, что мы можем, в иных вариантах, видеть и сегодня: о подмене политики полицией, о проституировании народного представительства, а еще об имморализме, которым «была поражена более или менее вся Россия»¹³. Первый вопрос: отделима ли борьба вообще от насилия (того или иного рода)? Допустим, благородная борьба-состязание, в которой в единоборство вступают отнюдь не обязательно враги. Или, как говорят, «честная борьба». Однако любая борьба требует: а) применения того или иного рода силы; б) той или иной хитрости, уловок, с помощью которых менее сильный, но более умный может победить более сильного, но менее умного; в) особого искусства, техники, умения и навыков борьбы. Первое грозит опасностью чрезмерного применения силы. И возникает вопрос о дружелюбном применении силы к другому (с его, надо сказать, согласия; ведь в соревнование вступают по обоюдному согласию), которое никак нельзя отождествить с насилием. Второе таит опасность использования прямой или замаскированной, но сознательной лжи – и тогда надо отличать сознательную и злонамеренную ложь, направленную исключительно на достижение победы и унижение противника от предполагаемых обеими сторонами обманов, хитростей, возможность использования которых ожидаема каждой из сторон. Третье таит в себе опасность несправедливости, неравенства условий; например, выставлять неопытного бойца против заведомо искушенного, испытанного; мастера против перворазрядника и так далее. Политическая борьба (политику ведь чаще всего и отождествляют с борьбой за власть) и, соответственно, борьба политиков, политических группировок, союзов, партий, ко-

¹⁰ Там же, 297.

¹¹ Там же, 162.

¹² Там же.

¹³ Там же, 172.

нечно, имеет свою специфику. Но почему борьба, а не политика согласия, сотрудничества, солидарности, которая вовсе не следует принципу «бескомпромиссной борьбы»? Эта последняя разве не говорит как раз о не гибкости, то есть известной слабости политики, которую многие полагают именно искусством достижения компромисса? Даже Геббельс утверждал: «Политика – это пластическое искусство Государства». Конечно, ни о каком «компромиссе» здесь речь не идет, но ведь все – пластическое, не железобетонное. Конечно, надо иметь в виду, что борьба бывает разная. Допустим, есть борьба «на поверхности» и борьба «в глубине». Как писал В. Розанов: «Тут борьба в зерне, а не на поверхности, – и в такой глубине, что голова кружится»¹⁴. Впрочем, политическая борьба – и там, «в глубине», и здесь, «на поверхности». Что же касается «политики согласия»... Мы знаем, какой она была в Советском Союзе (правда, тут речь лишь о внутренней политике), какое тут «согласие» имелось в виду, требовалось и признавалось. В этом «согласии» имплицитно уже содержалось требование «будь согласен» и обязательство «согласия». С такой политики, если она возможна, нельзя начинать сразу, неким волевым усилием; к ней еще требуется прийти – посредством переговоров, согласований, уточнений, выработки определенных общих презумпций (которые, впрочем, потом уходят в тень). Путь к этому может быть трудным, неоднозначным и долгим. Значит, и политика бескомпромиссной борьбы, жесткого противостояния, и политика компромиссов (до какой степени? между кем и кем? за счет чего и кого?), и политика согласия имеют свои слабости и в «чистом виде» суть лишь некие идеальные конструкции. Тогда не есть ли всякая «реальная политика» – политика «смешанная», «политический гермафродит» или даже «политический Протей», способный принимать в силу обстоятельств любые облики, так что «мимикрия» относится к самой сути политического? Но ведь равно мы говорим о «политической воле» (которой вечно не хватает), твердости, решительности, даже жесткости, необходимых политике. Таково ее (политики) противоречие, и потому так трудно с ней бороться и ее «превозмогнуть». Вы говорите: «Эта политика мертва, она ничего не может», – а она уже повернулась к вам иным, еще одним (и по-своему, конечно, коварным или, точнее, коварно-доброжелательно-угрожающим) «ликом». А ваши утопические проекты «иногo политического», упования на некую «абсолютную спонтанность волеизъявления», априори «бытия-вместе» или флэш-моб упираются в эту новую личину... Кстати, о последнем Андрей Ашкеров (едва ли не с упоением) говорил как об этой самой «абсолютной спонтанности волеизъявления», активизме в чистом виде. Это действие, которое отсылает к самому себе и говорит само за себя, исключая риторику комментария и объяснения. Допустима-де только риторика поступка. В смысле технологии это нечто среднее между demonstra-

¹⁴ В. Розанов: *Опавшие листья. Короб второй*, в: *Уединенное*, в 2 тт., Москва: Издательство «Правда» 1990, Т. 2, 329.

цией и перформансом. Политическое его значение выражается в резонансе, который он вызывает; этот резонанс, однако, целиком зависит от эстетической стороны дела. Ашкеров же пишет о русской нации как непрерывном флэш-мобе, который, дескать, «открывает нам красоту повседневной работы, низовой мобилизации и внутренней самоорганизации, без которых нация просто не может состояться». Об этом – обширное интервью с ним в книге «Кто сегодня делает философию в России»¹⁵, которое так и озаглавлено: «Нация – это постоянный флэш-моб». Что это? Разве действительная угроза «политической машине» той же нынешней РФ? Но почему же политическая борьба, а не «политическое производство»? Ибо рано или поздно мы приходим к вопросу: где производится истина? Ален Бадью, например, утверждает, что не только в философии, но и в сопредельных ей областях: в науке, в любви, в искусстве, в политике; и это четыре взаимно подкрепляющие сферы. В таком случае почему бы не «определить» политику и как «производство истины»? Но «истины» чего? Той же самой «борьбы»? Или вопрос надо ставить иначе: «истины» чьей и для кого предназначенной? Есть еще один интересный вопрос: о политической значимости аффектов и эмоций (которые далеко не одно и то же). Соответственно, аффектология и политика; аффекты ведь, атакуя нас, вовсе не контролируются нашей рефлексивной способностью и всегда приходят, как утверждает Ж.-Л. Нанси, извне; и тогда наша субъективность «ретушируется, отступает» (Е. Петровская). Аффекты, с одной стороны, разъединяют, но с другой – объединяют, причем еще до всякого знания о самом этом объединении. Какое здесь поле для «политической борьбы» и – «политической игры»? Игры, которая в современной политике все чаще осуществляется в пространстве языка/речи.

О речи. В 1909 году восемнадцатилетний О. Мандельштам пишет: «Ни о чем не нужно говорить, / Ни чему не следует учить. / И печальна так и хороша / Темная звериная душа»¹⁶. Политику никак не подходит, даже если в нем-таки мерцает «звериная душа». Непременно говорить и учить. (Да ведь и сам Мандельштам не молчит.) Не есть ли именно политик в первую очередь homo verbo agens, то есть человек, действующий словом? И потому как бы соразмерен поэту? Вспоминается и это, есенинское: «Слову с тайной не обняться...» Политики что-то нам говорят и о чем-то умалчивают. А умалчивают – из страха, не смея это сказать; из расчета, ибо это сейчас (а, быть может, и никогда) говорить не следует; наконец, в силу своей слепоты, поскольку принципиально не видят (возможно, и не хотят) того, о чем необходимо сказать. А вот говорят... Они всегда говорят «правду», очень часто правды не говоря. Вот такой парадокс, который в рамках самой политической жизни яв-

¹⁵ *Кто сегодня делает философию в России*, Сост. А.С. Нилогов, Т. 1, Москва: Поколение 2007, 16–36.

¹⁶ О. Мандельштам: *Камень*, Ленинград: Наука 1990, 14.

ляется как раз последовательностью. Заметим, что нечто может быть сказано неожиданно и (остро)умно, но при этом – ложно. Такое бывает – и соблазняет. К примеру, когда Георгий Федотов говорил: «Партия уже износилась как самостоятельная политическая форма»¹⁷. Но при этом поразительно допускал, что «грядущая диктатура» может иметь и «демократическое содержание», а «будет ли она действовать с соблюдением демократической легальности, не важно. Это, может быть, и не желательно, ибо легальность покупается ценой лицемерного извращения института»¹⁸. Странно, что речь может быть и тем, и иным, и переход от одного к другому совершается без особых каких-то предельных усилий, как бы сам собой. Она может быть твердой, решительной, однозначной, и может быть мерцающей, уклончивой, неоднозначной и многозначной. Человек как бы играет речью и с речью (с письмом, впрочем, так же). И тут целый арсенал средств, способов, приемов, инструментов. Или же это они, Речь и Письмо, играют нами? «Нельзя лгать, невозможно не сказать», «нет, об этом нельзя говорить», «не смею этого сказать... но намекнуть можно», «читайте об этом между строк», «умейте слушать то, что сказано умалчиваемым», ну и так далее. Речь (чья-то, кого-то) сопровождается молчанием: пассивным у созерцателей, активным у слушателей. Говорить – значит говорить не только о чем-то (впрочем, можно и «ни о чем»), но и от имени кого-то или за кого-то: говорить только «от себя и за себя», от имени единственно этого, от имени некоторых, будь их мало или много (группы, партии, союза, государства, нации, народа, церкви), от и за всех вообще, от имени Бога и, наконец, говорить вне всяких этих «от» (кого-то, чего-то) и «за» (кого-то), если это вообще возможно (ведь значит и не «от себя», и не «от другого»). Говорить – много. Это у В. Розанова подмечено: о «политическом пустозвонстве». Последнее он связывает с именем Герцена: «Герцен напустил целую реку фраз в Россию, воображая, что это “политика” и “история”. Именно он есть основатель политического пустозвонства в России. Оно состоит из двух вещей: 1) “я страдаю!” и 2) когда это доказано – мели какой угодно вздор, все будет “политика”»¹⁹. Так, может, и прав был тот же Розанов, писавший: «Нужно разрушить политику... Нужно создать а-политичность». Допустим, но как возможно это сделать? Следуют смешные ответы-советы автора: а) «перепутать все политические идеи»; б) «разрушим мыслью своею, поэзией своей, своим “другим огнем”»; в) переспорить их (политиков) невозможно, «нужно со всеми ими – согласиться»²⁰. Однако мы, кажется, уже от «аполитичности» сдвинулись к некоему «сверхполитическому». Есть, конечно, лживые фразы, есть правдивые; а есть и такие, которые не знаем куда отнести. Они вроде бы и не лживы, но и не истинны. Например, человек (искренне) говорит: «Я люблю

¹⁷ Федотов, указ. соч., 259.

¹⁸ Там же, 260.

¹⁹ Розанов, указ. соч., 511.

²⁰ Там же, 433.

всех людей». И субъективно это может быть правдой. Но объективно – нет. «Всех» – значит и каждого, но «каждого» ты не знаешь; как же «любить» того, о котором даже не знаешь, ничего не знаешь? И «каждого» ты «любишь» совсем не так, как родного тебе, близкого человека; любишь какой-то отвлеченной «любовью», а это не есть любовь настоящая, живая. Есть и случаи, когда, сказав что-то, говорящий тем самым исполняет прямо противоположное сказанному. Пример: «Проживи незаметно», – сказал древний философ. И остался замеченным. Иногда на слушающих находит «речевой столбняк». У меня такое случается, когда я (поневоле) погружен или врасплох захвачен речью слишком болтливых людей. Тут впору вспомнить еще одно розановское замечание, забавное, но таящее такую серьезность и горечь: «Русский болтун везде болтается. “Русский болтун” еще неучтенная политиками сила. Между тем она главная в родной истории»²¹. Да, но и это – откуда он взял? – «Русь молчалива и застенчива, и говорить почти не умеет: на этом просторе и разгулялся русский болтун», который – именно он – «и революцию начинает, и реакцию замышляет»²². А еще – когда приходится терпеть речь «возвышенных натур» (часто при этом зная их неприглядную подноготную). Отметим эрудицию, эрудированность, явленную вам в том или ином письме или речи. А ведь здесь присутствует молчаливое «я такой же, как вы, но в гораздо большей степени» (вообще важно услышать собственное «молчаливое» той или иной речи). И неистовое желание явить новое, чего ни у кого и никогда не было («молчаливое» этой речи: «я не такой, как вы, я – особенный»). Публика (хотя и не всякая) любит «красивую речь». Красиво сказано (и можно говорить – красиво, но – в небольших дозах, чтобы выделялось): «Песни – оттуда же, откуда и цветы». Есть-таки «красивые императивы»: «...нужно любить и пламенеть»²³. Существует физиологическое действие речи. Сам неказист, порой и просто безобразен, уродлив. Но говорит как? И речь растворяет его уродство; перед нами то ли бог, то ли демон. И речь его сокрушает, воспаляет покой слушающих, телесный, душевный и умственный. При этом – совершенство, коего должно домогаться, хоть оно и недостижимо; но и несовершенства, которые не должны совсем исчезнуть²⁴. Вот он, Оратор, «совершенный-несовершенный» разом, «неслиянно и нераздельно». Что вы тут значите, с вашей запинаящейся, сбивчивой и путанной речью, источником раздражения, которая даже и на жалость не способна? В лучшем случае у слушающих – чувство неловкости. Это у Николая Клюева, в длинном стихотворении 1916-1917 года, «Поэту Сергею Есенину»: «Книги-трупы, сердца папиросные / Не-

²¹ Там же, 399.

²² Там же, 400.

²³ Там же, 370.

²⁴ Там же, 456.

навистный Творцу фимиам!»²⁵ Вот я слушаю наших «ораторов» и вспоминаю эти строки. А еще мне вспоминается феномен аллюзивной речи: что говорю, не знаю, но все же говорю. «В рамках кругового аллюзивного движения означающих и протекает бред психотика, который не может разорвать этот круг. Вследствие этого сообщение превращается в кодовое послание и наоборот. В бреде фраза оказывается разомкнутой из-за нехватки Другого, который смог бы замкнуть фразу и вернуть женщине-психотику ее Я»²⁶. Но эта «нехватка Другого» и фатальное «не-замыкание» фразы – разве не отличительная особенность и политических речей? Среди этих политических речей особо выделяется речь воинственная.

О речи воинственной. Впрочем, не является ли речь (даже «внутренняя»; а уж внешняя, обращенная вовне, на кого-то, тем более) воинственной по самому своему существу, не только любая речь, а Речь как таковая? Воздействуя (с той или иной степенью агрессивности), подчиняя себе или стремясь подчинить, направляя и тому подобное? Воинственность – и речи, и вида, самого облика, и поведения; но вот что касается речи, то эта воинственность может быть как открытой, демонстративной, так и скрытой, зашифрованной. Тут возможна своя игра; допустим, при достаточно мягкой форме воинственность выражена в самом содержании или, напротив, по содержанию речь, кажется, и не воинственна, но она такова по самой своей форме. Но что же все-таки отличает именно воинственную речь? Без чего она никак не обходится? На что направлена и направляет слушателя? Каковы ее формы? Война не происходит молча (хотя и молча – тоже), политика не свершается молча (хотя и молча – тоже), власть не молчит (хотя иногда молчит, замалчивает, а о чем-то – молчит всегда). И все это – речи воинственные (даже когда «миролюбивые»). И секретность, будь она хоть государственной (тоже ведь почти сакральной), отнюдь не пребывает в лоне абсолютного молчания. Интересно было бы рассмотреть и проанализировать воинственные речи «нашего времени», эпохи информационных войн, их модификации и нынешний генезис. Я бы предложил такие основные «модусы» воинственной речи: обличение (налагающее клеймо) – провокация – пропаганда – призыв – приказ – обязательность «воодушевления». Хотя бы это; то есть речь: обличающая – провоцирующая – пропагандистская – призывающая – приказная – «воодушевляющая». Конечно, они могут пересекаться; так, пропаганда вполне включает в себя, в том или ином соотношении, все остальные «модусы». Приказ. Любая институция включает эту самую категорическую формы речи как свой системообразующий элемент (а показательны

²⁵ Н. Клюев: Поэту Сергею Есенину // *Scanpoetry. Читаем вслух*. Режим доступа: <http://scanpoetry.ru/poetry/11150>. Дата доступа 12.01.17.

²⁶ С. Долгопольский, С. Зимовец: Графы желания: комментарий к докладу Жака Лакана «Субверсия субъекта и диалектика желания во фрейд-довском бессознательном» // *Архетип*, 1 (1995), 52.

здесь, ясное дело, армия, органы госбезопасности, охраны порядка, а также тюрьма, криминальные структуры и вообще любые органы управления). Когда спрашивают: «Как же вы могли сделать подобное?» – как правило отвечают: «Я (мы) выполнял(-и) приказ». А приказы, как известно, не обсуждаются; характерная особенность этой формы речи. Это не просто ответ, а «оправдывающий аргумент». Приказ не подлежит обсуждению, приказ подлежит исполнению. Следовательно, критическая способность суждения, всякое самостоятельное мышление напрочь исключаются. Приказ обращен к воле, но не самостоятельной, а именно подчиняющейся. Честь получает иную формулировку. Честь теперь заключается в выполнении приказа любой ценой. Хотя бы и ценой чужих жизней (по крайней мере, в исключительных случаях). Часто это оправдывается так: да, мы были вынуждены, мы должны были пожертвовать этими, чтобы спасти многих и многих других. Но эти жертвуемые – вполне конкретны, а те многочисленные другие – безлики, абстрактны. И не редкость, когда тот, кто решился на подобный шаг и даже счел это своим долгом, послав на смерть конкретных людей, не спрашивая их согласия, провозглашается героем либо решительным человеком действия, который спасает дело многих там, где другие спасовали. Этическая сторона как-то сама собой отходит в сторону, в тень. Собственно, этическое здесь молчаливо, но радикально попирается; те, кем жертвуют, используются как средство, в них никто не видит цели, им негласно отказано в этом. Но ведь и сущность приказа такова; и хоть его выполнение увязывают с долгом и честью, он по своей сути не имеет в себе ничего этического. Можно говорить о двух радикальных «режимах» этой воинственной речи: непримиримость, но именно «в борьбе за мир»; непримиримость, ибо злостный враг должен быть полностью изобличен и уничтожен. Но каков, так сказать, конечный результат воинственной речи как таковой, сначала, быть может, имплицитный, но неизбежно проявляющийся в самой «субстанции» и структуре социума и душах человеческих? Какой отпечаток она на всем этом оставляет и откладывает? Что ею вымывается из самого нашего живого языка? Поскольку она внутренне связана с ложью, ею искажается само стремление к истине (это стремление теряет то, что ранее мы называли «искренностью»). Ее жесткость, резкость, однозначность, категоричность вымывают в нас духовность. (Ведь режет ухо, когда кто-то патетически начинает ни с того ни с сего говорить о «духовности» солдата, штабного офицера или даже боевого генерала.) Она суживает – в социальном речевом пространстве – поле и возможности диалога. Она подспудно подпитывает и культивирует чувство нашей «безусловной правоты». Ну а враг... само собой, не евангельское «возлюбите врагов ваших» (а ведь мы вроде бы православные, христиане), а одновременное упрощение врага, его демонизация, наделение преступным коварством и придание ему черт полной ничтожности и отвратительности. (Кстати, в баталиях гуманитариев тоже встречается подобное; например,

критики модернизма с их стенаниями: ах, этот тупой и агрессивный пленник бинарных оппозиций, ограниченный логоцентрист, догматический метафизик и опасный тоталитарист; утрирую, но все же...) Идея врага, как и идея борьбы, и политической в частности, заставляет сделать нас еще одно примечание – о войне.

О войне. Читаем Гераклита: Борьба в начале всего (можно и так: Война в начале всего). Читаем Бердяева – Шестова (дружили): Философия есть борьба. Напротив, у Розанова нет ни «малейшего желания борьбы». У него так: «Умереть без “места”, жить без “места”: нет, главное – все это без малейшего желания борьбы»²⁷. Дело не в страхе перед борьбой, а в нежелании сокрушать «врага», как и «разумно подчиняться» более сильному или более «убедительному». Как-то выдохся интерес бороться за то или это; за этих или тех. А как же борьба за правду, за справедливость, за «униженных и оскорбленных»? Не к Достоевскому восходит, а старо как мир. Но поставьте рядом две непримиримые стороны. И каждая борется за «правду» и «справедливость»; за «слабых и обездоленных». Примеры можно приводить без конца. И все же – борьба. Чем ее заменишь? Без нее и радости замирения, примирения нет. И экстаза победы не узнаешь. И через умудренную горечь поражения не пройдешь. Но меня влечет – и «с колебанием, колеблющееся», и «без колебаний, непоколебимое»; что же делать... Вот и взялся писать; тут и то, и это. Однако колеблющимся бороться нельзя. Ни бороться, ни пророчествовать, ни повелевать. Как говорит герой «Вора» Леонова: «Все бьется на свете друг с дружкой: огонь и вода, тьма и свет, тетерева, олени... древние ящеры, я читал, тоже хвостами хлестались». Но люди, кажется, особо. И только у них и между ними – войны, так что впору сказать: война – отличительная особенность, едва ли не признак человеческой вселенной. И у людей к войне (правда, людей разных) – и ненависть, и любовь. Это (и далее) всего лишь мое вольное размышление по поводу войны. Опыт войны затронул меня лишь косвенно и своими отдаленными последствиями. Воевали мои родители. Отец чудом избежал смерти; мать была ранена, и эта рана сказалась на всей ее жизни. А бабушку по материнской линии расстреляли немцы (поскольку вся семья была в партизанах). Существует иллюзия, что «война должна вестись по правилам». Каким правилам? Ну как же, международное право... следует добавить – бессильное. Ожесточение, которое приносит с собой война, мало с чем сравнимо. Ее раны заживают долго, а может быть, и никогда, даже уходя в тень забвения. А военные преступления? Все-таки за них наказывают. И опять же, следует добавить – далеко не всех. Война – сама стихия и разгул насилия, его апофеоз. ГУЛАГ – это ведь тоже война (скажем, с собственным народом). Так разве Гераклит все-таки не прав? Борьба – то явная, то скрытая, то в высшей степени напряжения, то вялоте-

²⁷ Розанов, указ. соч., 554.

кущая, – везде. От семьи до отношений между государствами, партиями, корпорациями. Не только в политической сфере, но фактически и в любой. Борьба против (чего-то, кого-то) и борьба за (что-то, кого-то). Но разве мы и не должны, не обязаны бороться – за себя и своих близких – и со злом, против него? Все здесь не так однозначно, но – да. Однако сегодня вряд ли возможны оправдания войны (по крайней мере, для мыслящего человека, чья нравственность не извращена политически и идеологически) в духе, например, гегелевского. Даже понятие «справедливой войны» становится сомнительным; все стороны считают, что они воюют за «правое дело». Но можно сколько угодно осуждать войну вообще и все бывшие и ныне текущие войны, питая при этом страх перед ужасами войн будущего. Осуждайте; а войны как были, так и есть и, несомненно, будут. Кантовский идеал «вечного мира», философски вовсе не праздный, прагматически попирается каждый год и день. Но если такая фатальность, то что нам в этих осуждениях? Отметим все же две грозные вещи. Первая – это сращивание войны с террором. Это видно еще с гражданской войны, с ее зверствами с обеих сторон. Во Второй мировой – это уже тотальная практика, с идеологическим «обеспечением». Сейчас – новая фаза такового сращивания. Америка борется с террористами; американские самолеты бомбят их базы. Россия борется с террористами; то же самое. При этом неизбежно, «время от времени», жертвы среди мирного населения: дети, женщины, старики. Но что делать? Бомба, даже «умная», лишена милосердия. И государственный терроризм легитимен; его нельзя так называть, он подкреплен и оправдан законностью. Вторая – технологическая революция в военном деле, деле войны, в самих средствах ее ведения. Впрочем, есть и третья – финансовая сторона вопроса. Достаточно посмотреть на военные бюджеты (стыдливо названные «оборонными») определенных стран. Война, с одной стороны, очень дорогое предприятие; но с другой – очень прибыльное. Оборот торговли оружием не то что впечатляет – поражает. А должен был бы пугать и приводить нас к нравственному возмущению. Значительнейшая часть науки работает на войну; как же тогда относиться к самой фигуре ученого? Нынешнее оружие – чудо техники, воплощение самого утонченного знания. Современная война – пусть даже локальная – это не дело одних лишь непосредственно воюющих; она неизбежно затрагивает, как известно, огромные массы населения, вовсе не намеревавшегося воевать. Пример сегодняшней Сирии не хочется даже и приводить. И – некуда деваться. Война потеряла всякую свою нравственную основу. Война, скажем, самый кровавый и бескомпромиссный, сеющий смерть род борьбы. И если Гераклит Темный говорил, что в начале была борьба (война), то что же в конце? «Общая победа» невозможна; значит, победа одних и поражение других. Победа одних: полная? лишь на время? Ведь время идет, так или иначе разлагая все устойчивое. А вот «общее поражение», поражение всех – пожалуй, возможно. Воспитывают ли войны человека?

(«Ты через это не прошел, ты этого не знаешь; чего ты стоишь?») Скорее, они радикально обесценивают человеческую жизнь. Мы с такой легкостью говорим: да, Вторая мировая война унесла двадцать миллионов жизней; вероятно, много больше. И спокойно продолжаем жить. Для скорби отведены определенные дни – официальной скорби. Я говорю вроде бы банальности, но иногда условия политической жизни, с одной стороны, и необъятность, устрашающая суть предмета – с другой, ничего, кроме банальностей (не только абсурдных по своему смыслу, но и вполне здравых), и не допускают. Еще говорят, что война является продолжением мирной политики государства. Парадокс, но он мне не нравится. Война не просто предполагает и допускает убийство; она обязывает убивать. Убить врага – твой долг. Но и тебя – убивают, так что можно было бы сказать, что Война, собственно, и есть тотальное убийство. Тут таится, быть может, некая «метафизическая тоска». В стихотворении Константина Бальмонта «Святой Георгий» заключительная строфа звучит так: «Святой Георгий, святой Георгий, / И ты изведаль свой высший час! / Пред сильным Змеем ты был в восторге, / Пред мертвым Змеем ты вдруг погас»²⁸. Но самая страшная война – по своей взаимной жестокости – гражданская. Правда, есть мнение (известного писателя и литературоведа), что гражданская война – естественное состояние расколотого общества. Она может выплеснуться открыто, остро и беспощадно, а может протекать подспудно, даже вяло. Но протекать, длиться, проглядывая в том числе и в нашей бытовой жестокости. Нынешние же кибервойны – тема особая, однако у них, скорее всего, «большое будущее». И снова возникает вопрос: чем бы должна быть политика, коль скоро само ее понятие восходит к такой форме человеческого сосуществования, как полис, свободное сообщество свободных граждан, совместно обсуждающих и решающих проблемы своей (мирной) жизни и обеспечения блага полиса?.. Да прямой противоположностью войне; и если действительно «политическое общество», то не военизированное (не тратящее на свои «военные нужды» чуть не треть своего бюджета) и уж тем более не мобилизованное, не воодушевляемое своей военной силой и «всегда-готовностью» к войне. Сказать лапидарно, если политика – то не война; а если война – то какая же политика? Поэтому, как только политик сбивается на «воинственный язык», он (если следовать такому пониманию) изменяет самому «политическому», и мы, «люди мира», не только в праве, но и должны не верить ему. Немецкий философ Хаймо Хофмастер как раз близок к подобному пониманию политики и такой концепции войны, которая радикально альтернативна классической точке зрения Клаузевица и даже теории «неоклаузевицинизма» с ее доктриной достижения превосходства (над противником) посредством неприменения силы и оружия. Ведь все-таки речь все равно идет о достижении «превосходства». Это легко ска-

²⁸ К. Бальмонт: *Собрание сочинений: В 7 т.* Т. 2: Полное собрание стихов 1909–1914: Кн. 4-7, Москва: Книжный Клуб Книговек 2010, 296.

зять и даже приписать некоей «эволюции» современных государств, что мы видим движение от «общества готовности к войне» к «обществу сдерживания войны» и затем к «обществу отрицания войны»²⁹. Однако не видим. Дамоклов меч возможной ядерной, биологической, кибернетической и тому подобной войны продолжает висеть над нами. А информационная и психологическая война (в той или иной форме) разве не факт, наличный в нашей социальной и экзистенциальной жизни? В работе Юлиуса Эволы «Метафизика войны» война характеризуется как ни с чем не сравнимое средство духовного преобразования и превзойдения человеком самого себя; соответственно говорится об «оздоравливающих эффектах факта войны».

Еще о политике – в свете трех важных вопросов. Первый касается политики и информированного согласия. Политика существует вопреки или основываясь на этом (информированном) согласии? Если согласии (ведь нам постоянно говорят о «воле народа», «гласе народа»), то каком? Можно ведь гордиться тем, что ты пошел «вопреки» и достиг результата, благого для всех. Но это движение «вопреки» не может быть общей политической максимой и никогда не гарантирует успеха. Да, может дать впечатляющий результат, но, что вероятнее, и привести к полному банкротству. Однако нуждается ли современная политика, с ее огромными возможностями и средствами манипуляции, в действительном согласии или только в его видимости? Тут надо пояснить, что это за вопрос «информированного согласия». В медицине пациенту должна быть предоставлена вся информация о лечении, дабы он дал свое согласие на него. Не так ли должно обстоять дело и в политике? С решениями политиков, которые обязаны прежде давать нам полную информацию о них, чтобы затем получить наше информированное согласие. И тогда эта проблема информированного согласия переносится в самый центр политики. Но одновременно на нас, граждан, давших такое согласие, ложится и часть ответственности за возможную неудачу. Зато больше не проходит патерналистский аргумент: «политики лучше знают, что нам делать» (подобно тому, как «доктор решает, что лучше для пациента», «учитель решает, что лучше для ученика», и вообще специалист решает, что лучше и что надлежит делать). Вот что пишет по этому поводу Донна Дикенсон (и в нашем случае этот тезис очерчивает также и границы ответственности политика, или политической ответственности): «Обязанность врача (читай – политика. – *Н.С.*) состоит не в том, чтобы получить надлежащий результат, но в том, чтобы получить его корректным образом... абсолютистская интерпретация информированного согласия пациента защищает и врача, и пациента: врача –

²⁹ Н. Баранов: Война, // *Всемирная энциклопедия. Философия*, Москва: АСТ, Минск: Харвест, Современный литератор 2001, 177.

от моральной ответственности, пациента – от посягательств на его автономию»³⁰.

Второй вопрос касается «моральной удачи» и «сожалений агента». Дело в том, что наши политики, когда их решения ведут к плачевным результатам, склонны признавать лишь свою незначительную небрежность, но никак не нести ответственность за сами эти результаты; их всегда можно объяснить, например, «побочными обстоятельствами», которые они не могли ни предусмотреть, ни контролировать. Но такое «оправдание» сомнительно именно потому, что оно всегда наготове, всегда под рукой. Понятие «сожаление агента» введено Бернардом Уильямсом. Это не раскаяние и не сожаление наблюдателя со стороны. Пример: водитель, соблюдавший правила дорожного движения и тем не менее наехавший на ребенка. Он не виновен, но испытывает сожаление. Присуще ли оно нашим политикам, вот в чем вопрос. Проблему же «моральной удачи», которая сильно осложняет наше представление о моральной ответственности, можно тоже пояснить примером: с одной стороны, безусловная вина пьяного водителя, который задавил пешехода; с другой – невиновность того же пьяного водителя, которому повезло (и повезло пешеходу), и он благополучно добрался до дома («моральная удача»). Парадокс в следующем: мы ответственны только за то, что в нашей власти, но в то же время ответственны и за вещи, которые нам неподвластны. Но что нам сожаление и раскаяние в ошибке, если она уже совершена и результаты ее ужасны? «Я не хотел» – не оправдание, ибо «уже – сделал». «Я не знал, что последствия будут такими» – тоже не оправдание. Наше незнание не делает поступок оправданным. «Это результат непредвиденных факторов» – также не оправдание для специалиста, будь то врач, водитель, строитель, инженер и – политик. Доктор Хаус в известном телесериале произносит такие слова: «Значительность ошибок определяется их последствиями». Но это ведь означает и то, что пока последствия себя не обнаружили, вина не может быть вменена. А последствия могут быть однозначно и не предопределены. И тогда один человек за тот же самый поступок подлежит наказанию, а другой – не подлежит, ему повезло; моральная удача. Следовательно, моральное осуждение или похвала в определенной степени оказывается делом случая. В конечном счете мы должны спросить себя, соблюдают ли политика и политики основное условие человечности, которое, учитывая весь контекст нашей жизни, «требует, чтобы мы несли ответственность за множество решений, которые не принимали», а не только за те, которые мы приняли непосредственно.

Третий вопрос касается (политического) авторитета. Вроде бы авторитет является тем, что человек обретает собственными усилиями. Ведь даже высокая должность наделяет только внешним авторитетом, который еще надо подтвердить своими поступками.

³⁰ Цит. по книге: *Хаус и философия: Все врут!*, Пер с англ. М. Вторникова, Москва: ООО «Юнайтед Пресс» 2010, 56.

С другой стороны, «история» авторитета двояка: это история его обретения и история его крушения. Есть ли безусловные, несокрушимые авторитеты в политике? Не на такой ли притязает сама Власть (по крайней мере, авторитарная)? Некоторые авторы различают «эпистемологический» авторитет (им обладает, например, специалист в какой-то области; он знает определенную область лучше, чем я) – и авторитет «деонтический» (вышестоящего лица, начальника, о котором нижестоящий говорит: «Я убежден, что смогу достичь цели, только следуя его указаниям»). И вот – претензия ряда политических лидеров присвоить себе оба этих авторитета; то есть и авторитет, основанный на компетенции, и авторитет, основанный на праве приказывать и контролировать. И это (скажем, иногда) закрепляется как своего рода необсуждаемая привилегия. В чем она выражается? Например, в возможности критиковать действительно компетентных людей, поскольку у них нет права приказывать и контролировать. А с другой стороны, критиковать своих же бюрократов, поскольку им не хватает компетенции. Отсюда – видимость «безупречности» лидера, подкрепляющая «всеобщее» упование на него; ведь он не дает спуска ни «узколобым интеллектуалам», ни «зарвавшимся администраторам». Подконтрольные СМИ только это и демонстрируют в своих репортажах о деятельности ведущих руководителей. Тем самым вопрос «вины» решен однозначно: «виновны» либо недостаточно волевые эксперты, либо недостаточно компетентные администраторы, либо безвольные и некомпетентные граждане. Тут самое время вспомнить тему законности. В работе «Понятие права» Г. Харт указывает, что закон ничем бы не отличался от уличного грабежа, если бы авторитет должности подкреплялся только угрозой наказания (штраф, арест и т.п.)³¹. Дж. Рац, предложивший концепцию власти как сервиса, полагает, что закон обоснован только тогда, когда содействует повышению качества жизни подчиненных ему людей³². Но именно это всегда и утверждает законодатель. А как это реально подтвердить или опровергнуть, если число «подчиненных закону» огромно и они занимают отнюдь не одно и то же положение? Тем не менее, следуя Рацу, власть закона обоснована тогда, когда его служители суть эксперты в области общественного поведения, в той его сфере, которую и охватывает закон. Тем самым мы вроде бы приходим к тому, что это совмещение двух видов авторитета все же не произвольно, у него есть-таки некое реальное основание. Точнее, должно быть, но не всегда есть. И что, если его реально нет? Тогда перед нами усиленное производство видимости; видимости обретения, авторитета, законности. Однако это требует систематической девальвации, даже разрушения и упразднения двух возмож-

³¹ См.: Г.Л.А. Харт: *Понятие права*, Пер. с англ. под общ. ред. Е.В. Афонсина и С.В. Моисеева, СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та 2007 (прим. ред.).

³² См.: J. Raz: *The Authority of Law: Essays on Law and Morality*, Oxford, New York: Clarendon Press 1979; J. Raz: *The Morality of Freedom*, Oxford, New York: Clarendon Press 1986 (прим. ред.).

ностей: возможности того, что обычные люди могут разбираться в ситуации не хуже, а может, даже и лучше служителей закона; и возможности того, что теоретический авторитет (авторитет действительной компетенции, которая обретается отнюдь не легко и быстро) может выносить свой суд над авторитетом практическим.